

МАРИНА ЕФИМОВА

Блошинный рынок

[260]

ил 7/2019

Если вы живете в американской глубинке, то культура от вас далеко, особенно музеи. От меня (в моей пенсильванской глуши) до Филадельфии с ее музеем искусств, музеем Родена и музеем Барнса — два с половиной часа езды. До чудного музея трех художников Уайетов в городке Чадс-Форд — два часа, как и до знаменитого университетского музея в Принстоне. А до нью-йоркских и вашингтонских сокровищ — по три часа. Траты на бензин, на билеты, парковку и ланч уменьшают реальную возможность покупать репродукции, на которые я (за дальностью оригиналов) жажду иногда полюбоваться. К тому же в музейных художественных лавках все дорого (большая репродукция стоит 30, а то и 50 долларов — без рамы, разумеется). И еще я заметила, что в магазинчиках при музеях никогда не продается та репродукция (и даже та открытка), которую мне особенно хочется купить.

И вот однажды, вскоре после нашего переезда в Пенсильванию, новая соседка предложила мне поехать с ней в недалекий городок Лиспорт на блошинный рынок. Был прохладный солнечный день, и было 9 часов утра, когда мы въехали на большую стоянку, уже забитую автомобилями. Старичок в оранжевом жилете поманил нас и указал место, куда мы втиснулись. Стоянка была на пологом склоне холма, и с его вершины открылся вид на зеленый луг размером с футбольное поле, окруженный холмами, которые иначе как “живописными” не назовешь. И на всем пространстве луга раскинулся бескрайний табор этого поразительного торгового изобретения — Блошиного рынка.

Американский блошинный рынок — скромная пожива бедняков, охотничьи уголья мелких коллекционеров, кладезь историй о баснословных находках, но, главное, праздничный хэппенинг — с пестротой, гомоном, с веселой грошовой (и всегда взаимовыгодной) торговлей, с аппетитным запахом уличных деликатесов: горячих сэндвичей и претцелей (крендельков, посыпанных крупной солью), кофе, хотдогов и див-

ных funnel cakes (типа нашего “хвороста”), которые готовятся тут же на жаровнях... Словом, это ярмарочное, простонародное удовольствие. Плюс — могучая индустрия. В Америке ежегодно оперируют 5 тысяч разнообразных блошиных рынков, и на них ежегодно торгует чем придется больше миллиона продавцов, которых здесь называют *venders*. А посещают эти блошиные рынки ежегодно 100 миллионов (!) покупателей.

Тут одно важное предупреждение: на блошином рынке никогда не следует ставить себе определенную цель — найти то-то и то-то. Вряд ли найдете и ужасно устанете. Просто отдайтесь его броунову движению, бредите себе не спеша, с веселой надеждой на везенье. И тогда вы, как я, уже в третьем ряду, на маленьком участке луга с крупно написанным прямо на траве белым номером (чтобы при необходимости легко было найти), набредете на пожилую “вендершу”, у которой среди коробок с фаянсовыми мисками обнаружите заслоненную старыми календарями хорошую репродукцию с картины Эндрю Уайета “Ветер с моря” (моей любимой). У этой вендерши покупали в основном ее фаянсовые миски. Помню, что один набор этих мисок (которых я бы не пустила на порог своей кухни) стоил, к моему изумлению, дорого — 20 долларов, но их раскупали. Я спросила у одной из покупательниц о причинах такой дороговизны. И та ответила назидательно:

— Это ж антиквариат: 1950-е годы!..

Вот что значит молодость нации!

За репродукцию Уайета (в скромной, незаметной, застекленной раме) вендерша — специалистка по мискам — даже не знала, сколько просить, — видимо, вещь попала к ней случайно. Подумав немного, она сказала:

— Десять долларов.

Но увидев мое изумление (на этот раз от дешевизны), она смутилась и сказала:

— Ну, можно и за восемь.

Для создания и организации блошиного рынка американцу не нужен серьезный начальный капитал. Поэтому эти рынки часто организует молодежь: пара молодых супругов, компания приятелей. Они покупают пустующий луг, размечают его, отводят место для стоянки автомобилей, по периметру ставят несколько переносных туалетов (а то и стародавних деревенских нужников), в уголке — сарайчик администрации, *регистрафуют* свой бизнес, а потом дают объявления в местных газетах и по местному телевидению. И в назначенный день на луг съезжаются грузовики и вэны “вендеров” —

торговцев, скупающих оптом вещи на аукционах и дешевых распродажах и продающих их в розницу на блошиных рынках. Приезжают и антиквары из провинциальных магазинчиков, куда редко заглядывают покупатели. С близлежащих фабрик и из универмагов привозят залежавшиеся товары. Местные фермеры и садоводы торгуют саженцами, рассадой, овощами, фруктами... Ремесленники — своими изделиями. Приезжают и те, кто просто хочет избавиться от накопившегося в доме барахла. Все они платят владельцам небольшую арендную плату и занимают один из участков луга. Вещи выгружаются из машин и укладываются на складные столы, на пледы или прямо на траву. Покупатели платят только наличными. Успех такого рынка зависит от энергии и изобретательности владельцев, а не от их достатка.

Блошинный рынок — *Flea market* — название чудное (конечно, когда оно перестало быть буквальным). В середине XIX века в Париже на таком рынке продавалось множество старых кроватей, диванов и кресел — гнездилищ этих прыгучих паразитов. Им, по общему мнению, мы и обязаны названием, прижившимся потом по всему миру. Впрочем, есть и другие варианты. В Австралии такие рынки называются *Trash and Treasure* — “Мусор и сокровища”. В Индии — “Приноси и покупай”. В Чили блошинный рынок называют “Персидским”. В Андалузии блоху заменили вошью, точнее — вошкой. А в Японии его называют *Free market*, то есть “свободный рынок”, но не потому, что японцы хотели изменить смысл названия, а потому, что в этом слове они не могут произнести букву “л”.

Некоторые *американские* историки считают, что “фли-маркет” появился в Нью-Йорке на полвека раньше парижского. В конце XVIII века он сам собой вырос на берегу Ист-Ривер, на месте подсохших соляных плавней (*vlae* — *влай* по-голландски). И появился “Влай-маркет”. В английском произношении это стало звучать как “флай”, а потом, вслед за парижским — “фли”.

Два *русских* названия таких базаров тоже образны и выразительны: *барахолка* и *толкучий рынок*. И оба названия универсальны. В Париже для главного, самого большого *в мире* блошиного рынка — *Marche aux puces* — характерна такая толкучка, что он стал полигоном карманников, и рыночные рекламы и брошюры советуют посетителям тщательно прятать кошельки. Между прочим, многокилометровый парижский блошинный рынок так велик, что там у главного входа продаются путеводители, и даже можно нанять персонального гида.

В наше время превалирует, я думаю, *второй* смысл названия “блошинный рынок”, а именно — мелкость, грошовость

его торговых сделок. Блошинный рынок — это “мелочная лавка”, доросшая до размеров эпоса.

Однажды моя соседка привезла в Лиспорт свою подругу, живущую в каменных джунглях Нью-Йорка. Подруга, поднявшись на вершину холма и увидев живописный луг и небоозримый красочный торг, пошла вперед, как сомнамбула. Через час я столкнулась с ней в одном из рыночных рядов. Она схватила меня за руку и сказала с чувством: “Если б меня спросили, что такое рай, я бы сказала: рай — это флимаркет без конца и без края”.

Смех смехом, но флимаркет в Америке вызывает ощущения, несравнимые с легким возбуждением покупателя в магазине. Флимаркет — не магазин, а в чистейшем виде пример американского антрепренерского духа — место, где без всякого посредничества царствует старинный принцип свободного и часто артистичного торга. И продавцы там соответствующие. Какие фигуры!.. Какие лица!.. Сам Феллини позавидовал бы такой массовке. Весь бизнес этих первобытных антрепренеров — мчаться на своих грузовиках с одного аукциона на другой, с одного флимаркета на другой. Из Пенсильвании в Индиану — на знаменитый там блошинный рынок Friendship (Дружба), который открывается только раз в сезон, но зато на целых три недели. И думаю, что их интерес — не только заработок. На флимаркетах собирается их общество. Они обмениваются информацией о ценах, о распродажах ферм и богатых имений, об аукционах и, конечно, байками о баснословных сделках. И на каждом флимаркете их ждут особенные, только этому рынку присущие удовольствия. Индианский, например, знаменит своими “бургерами” из бизоньего мяса и хотдогами с кукурузной начинкой. А вечерами там ставят эстраду, на которой устраивается конкурс музыкальных групп. И на этом рынке к обычным покупателям прибавляются толпы инвалидов, потому что все дорожки там покрыты асфальтом, по которому легко ездят инвалидные коляски.

Ни в одном магазине вы не услышите такого гомона и столько смеха, как на блошином рынке. Загорелые вендеры в диковинных одеждах, в невиданных шляпах, кто в цепях, кто в наколках, рассказывают друг другу анекдоты, перекрикиваются с соседями... Их жены и подруги — тут же, при них. Иногда они и сами торгуют, иногда выдают покупателям мешки для покупок и бегают разменивать крупные купюры. По очереди они отдыхают в разгар жары в тени своих грузовиков, как цыгане. В этих грузовиках они практически живут: спят, любят, носят по стране, останавливаются пере-

дохнуть на автозаправках для дальнобойщиков — с душевыми и буфетом.

На блошином рынке вы и сами — не покупатель, а охотник. Я охочусь невинно — за дешевкой, которая кажется мне оригинальной и красивой. А моя соседка — охотник-профессионал. Ее охотничьи угодья — “depression glass” — стеклянные изделия времен Великой депрессии. Часто их продают дети и внуки почивших старушек, которые понятия не имеют о ценности этого “старья” для коллекционеров по всему миру. Моя соседка покупает за 2 доллара солонку и перечницу, грубо сварганенные из толстого розового стекла, и продает их на интернетном рынке *eBay* в Австралию — за 299 долларов.

Соседка — охотник, который не делает холостых выстрелов. Однажды она купила в Лиспорте за доллар старую трость, показавшуюся ей занятой. На интернетном рынке простая старая трость не продавалась — в магазинах давно появились удобные, складные. И тогда соседка приложила к описанию своей трости короткий текст, сдержанно повествующий о том, что эта трость поддерживала когда-то ее раненого двоюродного деда, пострадавшего в Первую мировую войну, а потом — дядю, раненного во Вторую мировую. Трость по очереди хранили обе вдовы, теперь уже сами покойные, и пожилая племянница хочет ее продать, но так, чтобы люди знали историю этой заслуженной вещи. После этого она объявила аукцион на трость, поставив начальной ценой 5 долларов. К моему изумлению, эта псевдоандерсеновская история тронула сентиментальных обитателей *иБей*. Люди стали предлагать всё более высокие цены. И в конце концов трость купил за 35 долларов житель Орегона — возможно, ветеран, тоже, может быть, раненный в одной из недавних войн.

Моя совесть сморщилась было от такого подлога, но потом я вспомнила одну собственную покупку и примирилась с жульничеством соседки. Однажды в красивой и дремучей деревеньке Эквинанк, в двух часах от Нью-Йорка, в лесах на берегу реки Делавер, я заглянула в полуподвальный магазинчик с самоуверенным названием *Antic*. Это был никакой не АНТИК, конечно, а лавка старьевщика, которую, видимо, посещали так редко, что вход в нее почти зарос жимолостью. Внутри сидела за стойкой пожилая хозяйка диккенсовской внешности с не то прокуренным, не то пропитым голосом. Она только поздоровалась и потом ничего мне не навязывала и даже не предлагала, просто следила с выражением равнодушной безнадежности за моими рейсами по узким прохо-

дам между столами с ее товаром, таким грязным, что трудно было что-нибудь разглядеть. И вдруг упавший из окна солнечный луч прошел сквозь что-то зеленое, и оно заиграло, словно окошко в подводный мир. Это был кубок из тяжелого и грубого стекла, но чудного цвета. Я оглянулась на хозяйку, и та хрипло сказала:

— Два доллара.

Я засомневалась — не из-за цены, а из-за тяжести кубка и его полной бесполезности. Тут хозяйка проговорила:

— Вещь с историей.

И снова замолчала.

— С какой историей?

И хозяйка прохрипела, что после “Большой войны”, в конце 1940-х годов, на популярных тогда (и воспетых во множестве голливудских фильмов) осенних ярмарках выдавали призы за состязания на силомере или на других аттракционах не мягкими игрушками, как сейчас, а вот такими кубками из разноцветного стекла. Она ничего больше не присочинила, но я немедленно купила кубок, и он до сих пор зеленеет у меня на подоконнике. Потому что вещь с историей перестает быть просто вещью и становится раритетом.

Больше всего мне понравились барахолки европейские. На одну мы с моей младшей дочкой Наташей попали в Испании, в каталонской рыбацкой деревушке, на другую набрели в Швейцарии, в маленьком городке — из тех, что тянутся цепочкой вдоль Женевского озера. На таких барахолках нет никакого размаха, никакой индустрии, часто нет даже перекупщиков. Просто сидят старушки, продают собственное прошлое. Я бродила по этим рыночкам, как по юности моей бабушки: мимо бисерных абажуров, фруктовых ножичков с перламутровыми ручками, серебряных ложек с вензелями, кружевных зонтиков... Охотник во мне тут не просыпался, скорей — меланхолический наблюдатель, обездоленный потомок, готовый купить какую-нибудь безделушку, чтобы потом смотреть на нее и вспоминать целую эпоху, ушедшую на его глазах.

Есть люди — даже не мои ровесники, а намного моложе, — не желающие расставаться с этой эпохой, которая нравится им больше своей собственной. Они окружают себя образами и вещами той эпохи. Они даже поселяются в местах, которые время спрятало от перемен. С одним из таких людей я встретила в Венеции.

Мы с Наташей приехали в Венецию поездом из Флоренции на три дня. Гостиница нам была не по карману, и флорентийская приятельница дала адрес молодого человека — Вади-

ма, — готового сдать комнату за доступную нам цену. Мы долго брели, сверяясь с картой, от вокзала по мостикам — вверх-вниз-вверх-вниз, поминутно отвлекаясь на тысячу раз запечатленные, но впервые увиденные своими глазами дива полузатопленного неправдоподобного города. Наконец дошли до нужного дома. Вход — прямо с малолюдной набережной Ле-Дзаттере, даже без ступеньки. За спиной — широченный, как Нева, канал Джудекка. Дверь была открыта настежь, но на зов никто не откликнулся. Тогда мы вошли — с яркого света в полумрак — и огляделись. Мы оказались в большой комнате. Стены до самого, очень высокого, потолка были увешаны трофеями блошинных рынков: огромный кружевной веер, распластанное кимоно, лайковые перчатки с засохшей розой, два-три шелковых корсета, две-три старые гравюры и длинное, узкое, сливочного цвета летнее одеяние (салоп, мантиль?) с рядом бесконечных мелких перламутровых пуговиц. Последним мы заметили письменный стол почти у самого входа, так загроможденный всем, чему положено и не положено быть на письменных столах, что за этой баррикадой был едва виден сидевший за столом хозяин. Худенький светловолосый молодой человек с миловидным, но строгим и чуть брезгливым лицом неподвижно сидел за пишущей машинкой. Когда мы обратились к нему, он попросил нас присесть и подождать — он скоро освободится. За неимением в комнате стульев, мы присели на раскинутый на полу и прикрытый пледом матрац (на котором нам и предстояло проспать две венецианские ночи). Вадим еще несколько минут посидел за столом — за пишущей машинкой, но ничего не печатая, все так же неподвижно. Потом встал, представился не глядя на нас, уточнил цену, и после этого провел короткую (и, видимо, привычную) экскурсию по “квартире”. Кроме описанной комнаты, там имелась кладовка, куда был запихнут еще один матрац — для хозяина, и уборная, она же душевая, с оборудованием, оставшимся, похоже, с той же эпохи, которая была представлена в настенных украшениях. Вход в нее был прямо из комнаты. Кроме унитаза и душа над ним, в уборной имелась нормальная раковина, но не было крана. Над раковиной торчала труба с самодельным вентиляем, требующим осторожного обращения. На полу, под резиновым ковриком немножко хлюпало. Дверь, к счастью, была и закрывалась.

Вадим вел себя подчеркнуто деловито и вежливо, но ясно показывал, что не может тратить свое драгоценное время на постояльцев. Тем не менее он предложил довести нас коротким путем до площади Сан-Марко, если мы поторопимся, — у него неотложные дела в библиотеке. Мы собрались со скоро-

стью пожарных. Вадим стремительно шел впереди. Я едва поспевала. Мелькали древние стены, барельефы, ресторанички, проулки, витрины, сверкала в просветах вода, я ничего не успевала разглядеть. Наконец мы выбежали на знаменитую площадь. Там Вадим, сухо простившись, нас оставил. Не буду описывать самую популярную площадь мира, ее воспели художники, фотографы, кинематографисты и писатели — не мне чета. Мы провели на ней и вокруг нее часа два в удручающе плотной толпе. И вдруг, когда мы, наконец, собрались уходить, появился Вадим, что называется откуда ни возьмись, — такой же деловитый и спешащий, но предложивший отвести нас, куда мы хотим. Мы хотели есть и пригласили с нами на ланч Вадима. Он, несмотря на занятость, сразу согласился и помчался вперед сквозь толпу. Мы опять — за ним, с трудом отыскивая его глазами и не глядя под ноги. Уже перед самым выходом с площади, сбоку от Собора, где тоже была толпа, но отдыхающая — люди сидели прямо на мраморных плитах и на нескольких широких ступенях, — я почувствовала вдруг под ногой что-то мягкое и живое. Я с ужасом глянула вниз и ахнула — я наступила всей тяжестью на голубя — на символ площади Сан-Марко, на священную птицу, которую венецианцы прикармливают со времен дождей... Поразительно, что толпа тут же расступилась вокруг меня, а из компании студентов, сваленных кучей в нескольких шагах, сразу повернулось ко мне несколько лукавых физиономий, протянулись в мою сторону указательные пальцы, и глумливые голоса прокричали по-английски:

— Это она! Это она убила голубя!..

Я застыла, совершенно не зная, что делать. Голубь болезненно дрожал. И тут из толпы вынырнули Вадим и Наташа, подхватили меня с двух сторон и без лишних слов помчали прочь — да так, что я полетела, почти не касаясь земли. Никто за нами не гнался. Двадцать раз нырнув в венецианские закоулки, мы остановились на улочке, узкой, как коридор, перед старинной дверью кафе, похожей на дверь шкафа. И Вадим сказал мне с неожиданной симпатией:

— Не огорчайтесь. Венецианцы этих голубей ненавидят.

Весь тот день мы с Наташей бродили по Венеции, спрятав путеводители в сумки, — жалко было тратить время на их чтение. Кто-нибудь, конечно, уличит меня в том, что я и по Венеции брожу, как по блошиному рынку, — наслаждаясь случайностями. Но когда у вас три неполных дня в Венеции, и вы понимаете, что второго шанса не будет, вам ничего не хочется знать, только — смотреть. Правда, мы воспользовались информацией Вадима, научившего нас примете, по которой

можно понять, будут ли проверять билеты (довольно дорогие) на речном венецианском трамвайчике “вапоретто”. Примету не скажу – нечего обжужливать Венецию.

На одной из маленьких венецианских площадей, уютно припрятанных так, что они не видны с каналов, мы наткнулись на книжный букинистический “развал”, и там я сделала свою единственную покупку в Венеции – большую черно-белую фотографию (по размеру чемодана), на которой видна занесенная метелью площадь Сан-Марко с едва проступающими контурами собора и с фигурами двух мужчин (снятых со спины) в развевающихся плащах и странных плоских головных уборах. На первом плане видны в снегу их следы. Букинист говорил по-английски, и я спросила, сделан ли этот восхитительный снимок на карнавале. “Нет, нет, – сказал он, – оригинальный снимок сделан где-то незадолго до Второй мировой войны. Эти двое – карабинеры. У них тогда была такая форма”.

В тот день мы уже в сумерках возвращались “домой” – на набережную Ле-Дзаттере. Помня, как охотно Вадим согласился с нами позавтракать, мы накупили по дороге продуктов, бумажную скатерть и бумажную посуду. Доплетясь до нашего квартала – Дорсодуро, – мы с изумлением обнаружили там полное бестуристье. На улочках было тихо и пусто, как в каком-нибудь безымянном городке. На маленькой, и тоже пустой, площади мы заглянули в лавчонку типа “кулинарии” и купили десяток дешевых вкуснейших котлет (предварительно попробовав одну под горделивым взглядом владельца лавочки, знавшего себе цену).

Вадим оказался дома. Заметно было, что он приятно удивлен устроенным нами пиром, и когда мы уже были готовы рассестись вокруг бумажной скатерти-самобранки, он воскликнул:

– Нет! Такой ужин и без вина?! Извините. Я буду через пять минут.

Он схватил фонарик и выскочил на набережную. Наташа, прихватив кошелек, – за ним. Они пробежали в вадимовом темпе две улочки и остановились перед глухой дверью в стене, напоминавшей монастырскую. В ней было окошко – тоже глухое. Вадим постучал условным, довольно сложным стуком. Послышались шаги, окошко приоткрылось, последовало несколько слов по-итальянски и обмен: несколько евро (впихнутых Вадиму Наташей) – на бутылку красного вина, кажется, “Омберто”.

В тот вечер Вадим немного разговорился, и я узнала, что он искусствовед-итальянист, зарабатывающий редко перепла-

дающими ему переводами и пишущий о Венеции статьи, которые не доходят до печати. Он согласился дать мне одну, новую, почитать. Я читала ее ранним утром, сидя на пороге его странного жилья, нищего по-венециански — с видом на остров Джудекка. После чтения мне показалось, что автор статьи обречен. Статья была ученая, высокомерно сухая, рассчитанная на профессионалов — которые ревнивы, все сами пишут и состязаются в высокомерии.

Экскурсии Вадим принципиально не водил, но в последнее утро пошел с нами погулять по Венеции — чтобы показать кое-что любимое. Я ничего не запомнила, просто наслаждалась завораживающими названиями: Санта Мария Глариоза деи Фрари... Кампо Санта-Маргерита...

Когда нам пришло время уезжать, Вадим сказал, что проводит нас до вапоретто. Перед уходом он переоделся в тот самый сливочный салоп-мантиль, который висел на стене. Мы трое, опять галопом, понеслись к причалу, которой выбрал для нас Вадим — непременно у базилики Санта Мария делла Салюте. Пройдя по короткому трапу на катер, мы обернулись. Вадим стоял на фоне пепельной прелести базилики, в своем мантиле, застегнутом на перламутровые пуговицы, и махал нам кружевным белым платком. И мы тоже долго и весело махали ему, пока он не скрылся из вида.

В Америке до сих пор существует такой атавизм, как ROAD SHOW — буквально “придорожное представление”. Формально так называются группы людей, разъезжающих по городам и весям с развлечениями для местных жителей или ради рекламы. Одно из самых популярных таких шоу, которое даже часто показывают по телевидению, называется “*Антикварное road show*”. В таком-то месте в такое-то время (по договоренности с властями штата) собираются десятки искусствоведов — специалистов в различных областях: в живописи, скульптуре, прикладном искусстве всех видов, включая вышивки и кукол. Приезжают специалисты по старинному оружию, а также букинисты и знатоки старинных документов. К ним выстраивается очередь местных жителей с находками, обнаруженными на чердаках, в кладовках, в бабушкиных сундуках и дедушкиных сараях. И на глазах у изумленных владельцев выясняется, что принесенный фермером ветхий листок с рукописным текстом, датированным февралем 1865 года, — пропуск через армейские посты за подписью генерала Уильяма Текумсе Шермана. А старомодная рама, принесенная по настоянию матери молодой банковской служащей, — редкое произведение известного австрийского краснодерев-

щика середины XIX века — в стиле с загадочным названием “Бидермайер”.

[270]
ил 7/2019

В конце каждого осмотра специалисты называют нынешнюю рыночную цену вещи. Молодая обладательница рамы не может осознать, что рухлядь, из-за которой она ссорилась с матерью и грозилась выбросить на помойку, оценивается знатоками в 6 тысяч долларов. А обладатель пропуска, подписанного Шерманом, категорически отказывается от *своих* тысяч — чтобы повесить бесценный для него документ у себя над столом и начать семейное историческое расследование.

Поглядывая иногда по телевизору на эти “придорожные шоу”, я каждый раз замечаю, как старинные вещи будят человеческую память и вызывают взволнованный интерес. Потому что эти вещи — следы, по которым люди восстанавливают историю: одни — семьи, другие — страны, третьи — историю человечества.